

КОНЕЦ СВЕТА

ГЛАВА I

Министр транспорта России, Пётр Михайлович Терентьев, приземистый человек лет пятидесяти с добродушно-свирепым крестьянским лицом, возвращается с работы. Он только что отпустил шофёра, чтобы прогуляться по весеннему морозному воздуху. Седые брови мелко дрожат над его раскосыми, цвета пареной брюквы, глазами. Пропитанный копотью воздух сочится по бугристым щекам. Над лохматой головой переливается россыпь неподвижных звёзд. Белая туча со вкраплёнными в неё чёрными воробьями уползает за горизонт, царапая нежное брюхо о шпиль сталинского небоскрёба.

Министр протискивается сквозь строй пенсионеров, торгующих сигаретами, колбасой, водкой. Бескровные пенсионеры предлагают нехитрые товары молча, прижимаясь друг к другу. Их ороговевшие от холода одинаковые глаза широко раскрыты.

Пётр Михайлович идёт, ссутулившись, не глядя по сторонам. Слипшиеся бумажные деньги шевелятся у него в карманах.

“Я извиняюсь,” — маленький аккуратный старичок с клювовидным носом наталкивается на Петра Михайловича. Его огромный рот, набитый железными зубами, расплывается обезоруживающей улыбкой. Посаженные впритык глаза ласково изучают министра. Наконец, он вынимает из жестяной коробочки пилюлю и с трудом глотает. Кадык, как перископ от подводной лодки, гонит волну морщин вверх к подбородку.

“Я извиняюсь,” — ещё раз повторяет аккуратный старичок.

“Где это я его видел?” — вертится в голове у Петра Михайловича. — “Точно помню, что я где-то его видел... А, впрочем, неважно...”

Всё же он не выдерживает, останавливается и смотрит назад. Старичок стоит метрах в двадцати, словно поджидая его. Рядом с ним слепой человек в военной фуражке со звездой на лбу. На секунду у Петра Михайловича мелькает дикая мысль, что это его сын, Алёшка, пропавший без вести семь лет тому назад в Афганистане. Старичок что-то говорит военному и радостно машет рукой. Серебряные воло-

сы крыльями поднимаются над его головой. Пальцами растопыренной руки, он, как вилами, поддевает воздух. Между пальцами проскакивают синие искры.

Пётр Михайлович резко отворачивается и, разбрызгивая мазутные лужи, шагает прочь.

ГЛАВА 2

Министр транспорта входит в свою квартиру и шумно снимает в передней пальто.

“Петенька!” — выбегает из спальни подтянутая сухощавая женщина, много моложе Петра Михайловича. — “Ты позвонил бы, что раньше придёшь... Я ещё и на стол не накрыла.” Её густые пшеничные волосы туго завязаны узлом на затылке. Шёлковая юбка с длинным разрезом и белая блузка сидят как влитые. Сквозь блузку просвечивают твёрдые цилиндрические соски. Русалочьи глаза, с ободками вокруг зрачков, кажутся стеклянными. Привычно имитирует послушную взрослую девочку.

“Привет, Любок,” — Пётр Михайлович вминает мясистым пористым носом поцелуй в её щёку.

“Я сейчас, Петенька,” — выскальзывает она и уплывает на кухню, покачивая обтянутыми шёлком бёдрами.

Он представляет, как под шёлком нежно трутся друг о друга её длинные горячие ноги. Внизу живота что-то отзывается привычной тягучей ломотой.

Ужинают на кухне. Дымящийся красный диск борща на тарелке. Переливы ложек, рюмок, ножей. Чёрное пятно хлеба. Пузырится икра в хрустальной вазочке. Замёрзший цилиндр “Абсолюта.”

Уверенными быстрыми движениями Люба разливает водку. Пётр Михайлович пьёт залпом, с покрехтом. Шумно ест дымящийся борщ, заглатывая большие куски хлеба. Вторую наливает уже сам и сразу же, не глядя на Любу, выпивает. Нетерпеливым хозяйским жестом обхватывает её ниже спины. Трётся мясистым носом о твёрдые соски. Блаженная теплота разливается по его телу. Он откидывается на спинку стула, закрывает глаза и чувствует, как блуждающие настойчивые пальцы скользят вверх по его брюкам.

Люба опускается на колени и неторопливо растёгивает молнию. Добродушно-свирепое лицо министра разрывается ухмылкой. Тяжёлая рука плотно ложится на узел пшеничных волос. Наконец, Люба отрывается и снизу смотрит на него с неприкрытой ненавистью, затем, словно спохватившись, встаёт и, поигрывая плоскозубой улыбкой, тихо произносит: “Пойдём, Петенька.”

Неуклюже запихивая невесть что обратно в брюки, Пётр Михайлович бредёт в спальню.

Необъятная раскрытая постель в полутёмной комнате. Свет от проходящих машин скользит по мраморным складкам простыней. Лысая говорящая голова мельтешит на экране телевизора.

Небритые солдаты в пятнистой форме с автоматами наперевес сосредоточенно убивают друг друга.

Люба, как подушку, взбивает узел своих пшеничных волос и начинает на ходу раздеваться. Полоска сброшенной женской одежды — блузка, пустые полусферы на бретельках, сверкающие трусы — тянется по полу к раскрытой постели, как тропинка. Россыпь бархатных родинок вспыхивает на Любиной спине.

Пётр Михайлович не выдерживает, тяжело сопя, наваливается на неё, нащупывает дрожащими пальцами потаённый перламутровый вход в её тело. Как червяка в копилку, суёт свою крайнюю плоть и входит — тютелька в тютельку.

Жалобно вскрикивает необъятная кровать. Безмолвная, тяжёлая возня под мраморными простынями.

В раскрытом шкафу трясётся на стальных плечиках парадный пиджак министра.

“Ой!” — неожиданно тонким голосом вскрикивает Пётр Михайлович и, извергнув из себя семя, замирает.

Лежат молча минут пять. Широко раздуваются его тяжёлые пористые ноздри. Мысли постепенно возвращаются к работе. Он думает о том, как нелепо проходит жизнь в прокуренных кабинетах среди жадных и злых людей. Гладко выбритая напедикюренная нога Любы подрагивает на его волосатом животе.

“Тоже мне правительство,” — грустно усмехается министр. — “Врагу не пожелаешь... Сорок сороков мудаков. Воруят, как с цепи сорвались. Беспредел полнейший. Половине страны кислород перекрыли. Завтра вот опять в Воркуту надо лететь, разбираться с их красными баронами... Доигрались, буревестнички... Обрыдло мне всё это... Вернусь и махнём с тобой куда-нибудь, а? Подальше из Рублёвой Зоны. В Грецию, например, а, Любок? Ни газет, ни телефонов. Только мы с тобой и море.”

“Ой, Петенька, мне бы ужасно хотелось! Я ведь там никогда не была! Мы уже сто лет никуда вместе не ездили.”

“Ну, добро. Завтра закажу на воскресенье билеты в Афины. И гостиницу. А ты пока поознавай, что там есть интересного посмотреть... Чтоб не сидеть на одном месте.”

“Спасибо, мой золотой,” — пшеничная волна заливаает его голову и плечи, горячий острый язык быстро входит в раскрывшиеся губы.

Цилиндр света от проходящей машины проплывает вдоль книжной полки и останавливается на фотографии Алёшки в капитанской фор-

ме. Раскосые смеющиеся глаза сына, не отрываясь, смотрят на Петра Михайловича.

“Ты знаешь, Любок, у меня сегодня Алёшка весь день из головы не идёт. Виноват я перед ним.” Министр лежит на спине, подложив под голову тяжёлые руки. Лицо Алёшки стоит перед ним в цилиндре света. Ему и было-то всего двадцать четыре, через пару месяцев после окончания академии. Да, всего двадцать четыре... Мог тогда Пётр Михайлович поговорить с кем надо, чтобы Алёшку не отсылали. Да тянул всё, унижаться не хотел... Дурак старый!

Он вспоминает, как Алёшка пришёл прощаться. Раскрасневшийся, с мороза, в новенькой капитанской форме, с какой-то весёлой, белоглазой блядью. Глушили ледяную водку, до хрипоты спорили. Белоглазая ворковала что-то тучным бюстом. Алёшка, не стесняясь отца, шуровал у неё под кожаной юбкой. Она нетерпеливо перебирала бёдрами, прижималась к его ладони.

“Мог бы и мне привести когонибудь,” — спяну мелькнуло тогда в голове Петра Михайловича.

А через два месяца — извещение. Пропал без вести. Сначала, конечно, надеялся. Думал, может, в плену. Теперь-то привык. Жена у него ещё десять лет назад от рака умерла. Тоже намучилась, бедная. Так что вот: ни жены, ни сына. Только Любок да бесконечная работа...

“Эх,” — вслух вырвалось у Петра Михайловича. — “Виноват я перед ним. Чего бы сейчас не отдал, чтоб хоть голос его услышать, поглядеть бы на него...”

“А знаешь, Петенька, тут есть бабулька одна...” — Люба садится на постели, тяжело дышит. Крепкие коричневые соски описывают в воздухе маленькие круги. — “Она духов вызывать может. Нет, правда!”

“Ты что, совсем с ума сошла?”

“Не веришь ты, Петя, ни во что, потому тебе и так трудно... Давай попробуем, а? Ты Твердохлебовых знаешь? Ну, так вот я сама видела, как она дух отца Витьки Твердохлебова вызвала. У меня просто мурашки по душе пошли, когда он Витьке сказал, где у них под сараем доллары зарыты. Витька на следующий день отрыл! Ты у него спроси. Он расскажет... А бабульки не бойся. Она зря болтать не будет, ей ведь самой невыгодно. Да и вообще, она женщина порядочная. И чего тут плохого? Хочешь, я вот прямо сейчас за ней съезжу? Она недалеко...”

“Ну, что ж,” — сдаётся министр. — “Делать сегодня всё равно, вроде, нечего. Не телевизор же смотреть весь вечер. Давай попробуем.”

“Ой, Петенька, это будет так...” — Люба вскакивает с постели, с треском натягивает колготки, подбегает к нему, наклоняется и чмокает в бугристую шею. Длинная, облитая нейлоном, нога на секунду упирается в его плечо.

Быстро одевается, набрасывает белую норковую шубу и, хлопнув дверью, исчезает.

Пётр Михайлович ставит фотографию на круглый стол в гостиной. Наливает себе ещё абсолютовки и пьёт, не закусывая. Елозит пятернёй по волосатой груди. Потом усаживается поудобнее напротив раскосых смеющихся глаз Алёшки.

ГЛАВА 3

Шум открываемой двери. Входит Люба и за ней старая старушка с усохшим интеллигентным личиком, на котором аккуратно прочерчен лиловой помадой ромбовидный ротик.

“Ирина Леопольдовна,” — уверенно и немного покровительственно здороваются старая старушка, протягивая перепончатую красную ладонь.

“Нет, мне бы кофею лучше. Холодно на улице... Мебель у вас красивая...”

Тускло мерцают её пегие гладко зачёсанные волосы, уголки подкрашенных бровей, как пиявки, шевелятся на глазурированном лбу.

“Мне Любовь Никаноровна рассказала о вашем деле,” — вкрадчиво начинает она. Подносит Алёшкину карточку к своим выпинявшим мутным глазам, долго рассматривает, хочет что-то сказать, но не решается.

Наконец, ставит карточку подальше от себя на стол. “Нелегко это, конечно. Но попробовать можно. Если он захочет, то и получится.”

“Мы, Ирина Леопольдовна, понимаем, что это трудно. Пётр Михайлович вам сто тысяч заплатит, только постарайтесь,” — нетерпеливо перебивает Люба.

“Ну ладно, ладно. А только смотри: обманешь и... Плохо тебе придётся. Нынче, сами знаете, каждый за себя. А вы бы, Любовь Никаноровна, пошли пока погуляли. Здесь посторонним никак нельзя,” — заявляет она неожиданно твёрдо.

“Какая же я посторонняя? Вы что говорите?” — неуверенно обижается Люба.

“Да ладно, Любок, не кипятись,” — отмахивается Пётр Михайлович. — “Пусть делает, как она хочет. А ты пока в Елисейский съезди. У нас холодильник пустой.”

“Ты, Петя, поосторожней с ней,” — как бритвой, полоснув его по глазам своей плоскозубой улыбкой, шепчет Люба. — “Не нравится мне здесь что-то.”

Уходит, раздражённо хлопая дверью.

Старушка не спеша раскладывает сложенный вчетверо потрёпанный лист картона, на котором по кругу нарисованы буквы и цифры. Кладёт на картон голубое фарфоровое блюдце с чёрной полоской. Балетная лёгкость появляется в её движениях.

“Отнестись к этому надо серьёзно, иначе не выйдет, а бояться нечего. Всего и займёт-то минут пять-десять. Ты пока что глаза закрой, да помолись, как умеешь.”

Вынимает из сумки витую свечку, зажигает её, ставит на стол рядом с фотографией. Гасит в комнате свет.

“Пальцы сюда положи. Вот так. На карточку смотри. Вспомни, как последний раз с сыном говорил. Глаза закрой, ни о чём не думай.”

Бормочет. Мутные зрачки проясняются. Пот катится ручьями с помолодевшего лица.

Глуповатая испуганная ухмылка застывает на лице Петра Михайловича. Проходит несколько минут.

Вдруг круглый дубовый стол начинает дрожать. Маленькими толчками вертится голубое блюдце. Чёрная полоска останавливается напротив цифры пять.

“Ответил!” — охает старушка, хватая карандаш и торопливо записывает: 5 9 9 4 1 7 2.

Пётр Михайлович обалдело смотрит на карточку и отдёргивает пальцы.

“Ты зачем пальцы-то забрал? А ну, положи на место!” — не помня себя кричит старушка неожиданно грубым мужским голосом.

Министр пытается что-то ответить, лихорадочно шарит в мозгу, но ничего не находит. Ему кажется, что рот его забит смоченной в уксусе губкой. Покорно кладёт толстые пальцы обратно на стол.

Чёрная полоска останавливается. Обливаясь потом, старушка глядит на Петра Михайловича, затем на Алёшку и, наконец, упирается взглядом в полоску, словно пытаясь сдвинуть её с места. Блюдце лежит неподвижно.

Глаза старушки вдруг затягиваются белой пеленой. Ромбик лиловых губ расплывается по усохшему лицу. Она вскрикивает и медленно заваливается набок.

Пётр Михайлович беспомощно суетится вокруг её маленького тела. Приносит из кухни чайник, осторожно льёт холодную воду в сморщенное ухо. Старая старушка постепенно оживает.

“Может, врача позвать?” — наклоняется он над мокрой головкой с растрепавшимися пегими волосками.

“Да, нет, что вы... Мне плохо стало... Пойду я. Ничего у нас не вышло. Нет, денег я у вас никаких не возьму. Может, когда в другой

раз получится. Вы уж меня извините. Я Любовь Никаноровне потом сама позвоню...”

Размазывая остатки помады, она вытирает лицо накрахмаленным носовым платком и семенит к двери.

ГЛАВА 5

Через десять минут, нагруженная продуктами, возвращается Люба. Пётр Михайлович, задумчиво почёсывая волосатую грудь пятернёй, сидит за столом в гостиной. Огромные желваки, как кегли, перекачиваются по его бугристым щекам. Некоторое время не замечает её прихода.

“Ну, как бабулька?” — не выдерживает Люба.

“Да чокнутая какая-то. Чуть концы не отдала. Божий одуванчик... Чёрт его знает... Вроде и получаться начало. Даже блюдце вертелось. Но только, знаешь, не слова, а одни цифры. Два раза то же самое. Вот смотри, она тут записала.”

Люба тщательно изучает: 5 9 9 4 1 7 2. “Чепуха какая-то.” Она закуривает, глубоко затягивается. Две витые голубые спиральки выплывают из узких ноздрей.

Снова внимательно смотрит на листок. Стеклянные зрачки с тёмными ободками зажигаются осторожным светом.

“Петя, а, может, это телефон чей-то? Давай позвоним?”

“И что? Сказать, что мне этот номер на том свете дали?”

“Да неважно. Ты просто набери и послушай. Какой вред-то?”

Министр трёт лоб и после минутного раздумья соглашается.

“Ну, ладно, давай попробую, раз ввязался.”

5 9 9 4 1 7 2... тычет он толстым пальцем в телефонный аппарат. Ждёт, затаив дыхание.

Люба, как кошка перед землетрясением, мечется по гостиной. Длинные гудки и, наконец, звонкий молодой голос:

“Папка! Это ты?”

“Алёшка! Алёшка! Ты, что, живой?” — задыхается Пётр Михайлович.

“Не положено тебе этого знать. Времени у нас мало... Через три дня у вас тут всё закончится.”

“Что всё?”

“Всё... Жалко мне тебя. Может, успеешь ещё. Не хочется, чтобы ты мучился. Я ведь тоже, когда в плен попал, ты-то этого не знаешь, мне глаза выкололи. Жутко больно было. Папка, разыщи Исайю. Сразу же! Он тебе всё объяснит. Времени вот только мало... Да и не поверишь ты...”

“Какого Исайю?”

“Любок тебе его найдёт.”

“Ты откуда про Любка знаешь?”

“Всё я знаю. Не важно это.” Голос в трубке становится совсем далёким. “А братика вы не трогайте! Пусть живёт...”

Длинные гудки.

“Алёшка! Сынок!” — Пётр Михайлович стучит волосатым кулаком по рычагу. — “Ты где?”

Ровные длинные гудки. Огромное лицо министра наливается кровью. Он вскакивает, хватая Любу за горло.

“Это всё ты, сука, подстроила! Поиздеваться решила?”

Люба, не сопротивляясь, смотрит на него исподлюбья. Глаза её округляются в две заглавные буквы “О”. Красные трещинки проступают на стеклянных белках.

“Что ты, Петя, меня ведь тут и не было,” — с трудом, но совершенно спокойно произносит она.

Тяжёлые руки на её горле ослабевают.

“Да, правда. Я ведь сам блюдце вертел. Да и голос Алёшкин. Полная чертовщина... Братик какой-то... Ничего не понимаю.”

“А что ты, вообще, кроме себя понимаешь?” — неожиданно взрывается Люба.

“А ну, говори!”

“Договорилась я... В субботу утром. Аборт буду делать.”

Люба секунду молчит и тут же с яростью выплёвывает ему в лицо:

“А что? Мне всю жизнь одной с твоим ребёнком, как волчок, крутиться, да? Ты ведь, миленький, жениться не хочешь! Недостаточно я для тебя хороша! Стыдно друзьям признаться, что жена у тебя лейтенантом ГБ была, в ОВИРе служила, бедных евреев на историческую родину не пускала! А только и в ГБ живые люди работали! Не лучше и не хуже других. Да пошёл ты...”

Выбегает на кухню.

Министр идёт за ней. Неуклюже прижимает пористый мясистый нос к узлу её пшеничных волос.

“Ну, ладно. Может, и правда, не надо никакого аборта делать... Пусть уж, как есть. Махнём в воскресенье в Грецию, там обмозгуем...”

“Ты, Петя, как мальчишка...” — она через силу улыбается, проводит пальцем по его шее.

“С Алёшкой ведь тоже такое было... Мать-то его вначале не хотела. На четвёртом месяце чуть аборт не сделала. А уж когда совсем больна была, она ему это рассказала зачем-то...”

Пётр Михайлович морщится и вдруг, словно вспомнив что-то, возвращается в гостиную. Рывком, как пудовую гирию, хватая трубку: 5994172.

Раскосые смеющиеся глаза, не отрываясь, следят за ним с фотографии.

“Дежурный третьего отделения милиции лейтенант Алексеев слушает...”

“Это 5994172?” — обалдело кричит министр.

“Повторяю: дежурный третьего отделения милиции лейтенант Алексеев слушает.”

Пётр Михайлович с размаху опускает внезапно вспотевшую трубку. Пять литров сгустившейся крови закипают в его большом теле. Поворачивается к Любе.

“Что это за Исайя, Любок? Ты о нём что-нибудь слышала?”

“Да психованный какой-то... Недавно здесь появился. Из Воркуты, кажется. Пристаёт ко всем. Видение у него там было. Много таких теперь развелось. А этот совсем стибанутый. Всё рассказывает, как там в шахте, под землёй, ангел ему явился. Он и к нам вчера приходил, с Мозгом хотел встретиться.”

“Ну и что?”

“Что-что? Не пустили его к Мозгу, конечно.”

“Слушай, Любок, а как бы мне его найти, а?” — озабоченно бормочет Пётр Михайлович.

“Не знаю, может, придёт ещё... Завтра надо на работе поспрашивать.”

“Только ты об этом никому, понимаешь?”

“Что ты, Петя? Дура я, что ли?”

“А что ещё про этого Исайю говорят?”

“Откуда я знаю? Какая-то у него коммуна своя... Мальчишки, девочки лет по восемнадцать. Листовки на улицах раздают, покаяться уговаривают. Имущество раздать бедным. У них на воскресенье конец света назначен.”

“Че-го-о-о?”

“Ничего. Конец света.”

ГЛАВА 6

Залитый солнцем кабинет президента российской торгово-промышленной корпорации “Мозгтрест.” Кипы бумаг на столе. Разноцветные телефоны. Вдоль стены аккуратные одинаковые чемоданы.

За столом в кожаном кресле оплывшая туша Мозга. Сияет его череп, отороченный рыжеватой сединой. На темени, как наплёпка, выпуклая круглая лысина. Редкие кустики волос вздрагивают в пухлых ушах. Липкие коричневые глаза в контактных линзах. Нежной белой сыпью припудрена гофрированная шея.

Входит Люба. Молча, не глядя на Мозга, кладёт на стол толстую папку.

“Что ты такая пришибленная сегодня? С Михалычем поссорилась? Ну, давай, рассказывай, какие там новости с того света? Мозг всё знать должен. Что молчишь? Ты, никак, темнить задумала? Нет уж, милая, у меня эти веники не канают! Ну?”

Коричневые глаза в маленьких глазных отверстиях внимательно изучают Любу. Наконец Мозг, самоисступляясь, взрывается:

“Ты будешь, падла, отвечать, или я сейчас вот наберу телефон и Михайлычу пару словечек шепну, так что он тебя до конца жизни за километр, как кучу дерьма, обходить будет?! Врать не вздумай! Кто меня обманывает, долго не живёт. Ну?”

Кустики рыжих волос в пухлых ушах становятся дыбом.

Люба покорно опускается на стул. Перевернутая туша Мозга отражается в её стеклянных зрачках. Красные пятна плывут по лицу. Закуривает. Медленно, через силу, рассказывает. Пепел падает на чёрную юбку.

Мозг слушает, одобрительно кивая. Не спеша, поднимает телефонную трубку: “Клабочка, пришли-ка мне Чуженина.”

“Только вы уж, Александр Самойлыч, Пете-то не говорите,” — выдыхает Люба.

“Не бойся. Поважнее дела есть. Слушай, привези-ка мне сюда этого Исаяю. Хочу на него посмотреть.”

“Где ж я его вам возьму?”

“Найдёшь. Найдёшь. Чтоб через три часа была здесь со своим воркутинским старцем, ясно? Ну, иди, иди. Занят я.”

Без стука входит Чуж Чуженин, одорукий начальник личной охраны Мозга. Тяжёлое, до синевы выбритое лицо. Настороженные волчьи глаза под оглоблями надбровных дуг.

“Вот что, Чуж. Езжай-ка за Егоровым в управление и вези его сюда немедленно, понял?”

Чуж угрюмо кивает и сразу же исчезает.

Мозг разворачивает огромную, во весь стол карту Москвы. Бормочет: “Следующее воскресенье — это нам как раз будет. Мальчики с Исаяей у Лобного места... Хорошо. Прямо для такого дела местечко. Очень кстати. Так и поставим. Егоров за два дня управится, только бы Кукушкин из города не уехал. Часов в двенадцать зачтём обращение по телевизору.”

ГЛАВА 7

Четыре часа дня. Плотное обтянутое кожей лицо Мозга нависает над картой Москвы. Солнечный зайчик от лысины прыгает по стене.

В дверях появляется Егоров, высокий, очень худой человек в нескладно сидящем костюме.

“Миша, дорогой, заходи.” Волны жира оживают под шёлковой рубашкой Мозга.

“Ты же знаешь, Саня, не люблю я здесь бывать.”

“Да не думай об этом. Тут микрофонов нет. Я каждый день проверяю. Иначе нас бы всех давно замели. Я тебя вот почему позвал: в воскресенье утром начинаем! Такого удобного момента, Миша, может больше не представиться.”

Костлявое лицо Егорова оживает. Мешки под глазами исчезают. Только кадык продолжает истерично ходить вдоль по жилистой шее.

“В это воскресенье? Что ж, может, и правильно. В воскресенье рано утром лучше всего. Они ведь спать будут с перепоею. Опять же и Кукушкин ещё в городе... Назад у нас пути нет. И так уже сколько тянем. Ребята мои нервничать начинают. Да и здоровье всё хуже. Врачи говорят, не больше трёх месяцев протяну...”

“Да брось ты, Миша!” — Мозг скрипит кожаным креслом. — “Мы тебя просто так не отдадим. Вот, как закончим тут на следующей неделе, полетишь в Америку. Сделают тебе там операцию, потом химиотерапиики немного, и вернёшься как новенький...”

“Будет тебе, Саня! Никуда я не поеду! Должен тут быть. Без меня разве справитесь? Да и ребят своих я в такое время не оставлю. Ведь мы с ними весь Афганистан пропахали. Ты пойми, что я, может, только для этого сейчас и живу.”

“Ну, хорошо, хорошо,” — кивает Мозг. — “Поговорим ещё об этом. Я тебе, значит, в воскресенье в семь утра позвоню в управление. Если скажу, что вечером приглашаю в гости, сразу начинай. Человек двести тебе на Кремль хватит и ещё сто для подстраховки. Самых надёжных. Чуж с моими людьми обеспечит Белый Дом и Останкино. Ребятам ещё раз напомни: пленных мы брать не можем. Времени не будет. Вся сила в неожиданности.”

“Саня, а что там с Терентьевым?”

“Я с ним не говорил. Тут такое дело... Не уверен я в нём. Слишком уж он мягкий какой-то. Сколько мы к нему присматриваемся...”

Мозг размышляет о чём-то своём, упершись большим пальцем правой руки в подбородок. Маленький целлулоидный кулачок заклоняет рот. Наконец он произносит, немного понизив голос:

“Миша, тут старичок один появился, Исайей зовут, конец света в воскресенье обещает. Не слышал, случайно, об этом?”

“Охота тебе, Саня, в такое время о чепухе думать!”

“Да неважно, это я так. Ты иди. Не стоит тебе долго у меня находиться. Если изменится что-то, приезжай сам, я здесь буду. “Мозг” двигать нельзя. Да, вот что: возьми-ка этот чемоданчик. Там деньги. Тебе до воскресенья много денег понадобится.”

Встаёт из-за стола, провожая Егорова.

“Великое мы дело затеяли, миллионы жизней от этого зависят. Некому, кроме нас. И ошибиться нельзя. Ну, иди, Миша, с Богом.”

Телефон.

“Слушаю. Пусть войдёт, Клабочка.”

В дверях появляется аккуратный старичок с лицом, разлинованным морщинами. Клювовидный нос пронзительно торчит из сетки морщин. С интересом разглядывает Мозга. Вынимает из жестяной коробочки пилюлю и с трудом заглатывает.

“Ну вот, Саня, снова встретиться довелось”, - с обезоруживающей улыбкой шепчет старичок. — “Хоть и в дни последние, а привёл меня Господь увидеть тебя.”

“А вы, что, меня знаете?” — в голосе Мозга проскальзывает раздражение. Рыжие брови сдвигаются на переносице, широкой дугой нависают над контактными линзами.

“Знакомы мы с тобой, Саня. Давно знакомы. Четверть века поди. Физику я у вас в двести третьей школе преподавал. Не припоминаешь? Похоже, я за эти восемь лет крепко изменился. Никто меня после Воркуты не узнаёт.”

Набитый железными зубами рот снова расплывается в улыбке. Как глушёная рыба со дна, всплывает в памяти Мозга одинокая фигурка у доски, испещрённой формулами.

“Владимир Андреич?” — липкие коричневые глаза, словно ошупывая, движутся по рассечённому морщинами лицу старика.

“Был я шестьдесят лет Владимиром Андреевичем. А два месяца назад нарёк меня Господь Исайей, и нет теперь у меня другого имени... А тебя, Саня, я хорошо помню. Не похож ты был на других. Всё один, без друзей, и всё о чём-то своём думал, всё высчитывал. Тебя тогда в классе Мозгом дразнили.”

“Меня и сейчас так зовут,” — усмехается Мозг.

“Да, странно,” — не обращая внимания, продолжает старичок. — “Странно, что именно к тебе привёл меня Господь. Смыкается круг мой.”

“Я слышал, у вас видение было,” — прерывает его Мозг.

“Ты, Саня, со мной, никак, светский разговор заводить собираешься? Нет у нас времени на это. Послушай лучше. Раздай ты, пока не поздно, деньги свои несусветные людям и молись Господу. Ведь целых три дня осталось. Может, и спасёшься...”

“Как это у вас всё просто получается: раздай да молись!” — развлекается Мозг. “Деньги раздать ума не надо,” — продолжает он всерьёз. — “А сколько людей я ими прокормлю? Не Христос ведь. Да и не в деньгах одних дело. Вы вот скажите, почему я в ваше Воркутинское откровение поверить должен? По Москве у нас теперь столько проповедников ходят. Пугают, уговаривают. Всем, что ли, верить?”

“Эх, Саня, трудно мне говорить с тобой! Непроницаемый ты. Открылся бы! С душой ведь своей вечной играешь! Жаль мне тебя.”

Исайя стоит посреди залитого солнцем кабинета, под пиджаком обнимая костлявыми руками свою грудную клетку. Закрывает глаза прозрачными веками. Мозг чувствует, как слова его входят внутрь, словно раскалённые гвозди.

“Брось ты свою возню мышиную, Саня. Заботишься, суетишься о многом. Знает Господь каждую мысль. Откройся Ему. Не слышишь... Тебе, небось, чудо какое-нибудь показать надо, и то подумает: гипноз, галлюцинация... Собственным глазам не поверишь, себя от тела своего отличить не сможешь... А тело что твоё, что моё — только сосуд нечистый, книзу раздвоенный.”

“Значит, мы с вами белые одежды оденем, молиться будем, а народ, миллионы женщин, детей на Волге, в Сибири с голоду пусть пухнут? Так, что ли?”

“Не можешь ты им ничем помочь, Саня... И никто не может. Я тут видел, генерал Егоров от тебя уходил...”

Мозг вплотную подходит к Исайе. Контактные линзы недобро вспыхивают.

“Всё равно до вас закончится, Саня,” — быстро шепчет старик. — “Помолился бы... Знаю, что трудно. А ты попробуй, может, Он и отзовется. Не веришь, потому что не удостоверен. А за Егорова не бойся. Суета это...”

Исайя вынимает из-под пиджака костлявые руки. Растопыренной ладонью поддевает, как вилами, плывущий в воздухе сноп солнечных лучей. Искры проскакивают у него между пальцев.

“Приезжай в субботу вечером попозже. Я тебе бумажку с адресом оставлю. Сам всё увидишь. Пойду я.”

Мозг с неожиданной ловкостью вскакивает с кожаного кресла. Суёт Исайе чемоданчик.

“Возьмите, вот, здесь деньги! Может, вам пригодится... Листовки делать. Или людям раздадите.”

Приплюснув усмешку клювовидным носом, Исайя внимательно смотрит на Мозга. Неторопливо берёт чемоданчик и, шаркая ногами, уходит.

Мозг тяжело опускается в кресло. Подпирая подбородок пальцем правой руки, долго глядит на дверь, за которой только что скрылся Исайя. Потом встаёт и идёт в соседнюю комнату.

За терминалом сидит Чуж Чуженин, откинувшись на стуле. Стада зелёных цифр проплывают перед ним по экрану. Широкая лента бумаги выползает из факса. Быстро поворачивается на стук открываемой двери. Волчьи глаза выжидающе смотрят на Мозга.

“Ты вот что, Чуж. Возьми-ка двух ребят, молодых, но потолковее. Пусть едут к Исайе и не отходят от него ни на шаг. Все три дня. Я каждый чих его знать должен. Ну, иди, измучился я...”

Суббота. Три часа дня. Квартира Любы на Кутузовском проспекте. Маленькая комната с синими цветами на обоях, плотно заставленная дорогой мебелью. Одинаковые пыльные книги на этажерке. Громадный буфет переливается хрустальными внутренностями. Жалобно плачет вода в уборной. В углу на иконке крутолобый святой с плоскими чёрными глазами. Под ним гирлянда фотографий самой Любы — в школьном белом фартуке, в лейтенантской форме, на пляже с Петром Михайловичем. Куст солнечных лучей неподвижно висит в окне между шторами.

Люба кувшинчиком сидит на диване в красном халате, поджав под себя ноги. Вяло перелистывает журнал.

Звонок. Морщась от боли, она встаёт, открывает входную дверь.

Входит Ирина Леопольдовна. На её усохшем личике крайнее возбуждение. Лиловый ромбовидный рот сразу же начинает: “Вы уж меня извините, Любовь Никаноровна, мне с вами обязательно поговорить нужно.”

Зажав ладонями низ живота, Люба осторожно опускается на диван.

“Понимаете, возвращаюсь я часа два назад к себе. Запыхалась вся. Лифт не работает, на четвёртый этаж с сумкой... Вожусь с замком. Дверь я недавно стальную поставила: время-то, сами знаете... Одна ведь живу. Занесла продукты в прихожую, заперлась на замок, потом на цепочку, я всегда так делаю... Вхожу в комнату и чуть не умерла... Сидит за столом незнакомый какой-то, в военной форме, звезда на фуражке, а глаз не видно. Я к стенке отвернулась, лицо руками закрыла и пошевеливаться не могу. А он мне ласково так: “Да вы не бойтесь, Ирина Леопольдовна, я — Алёшка Терентьев, Петра Михайловича сын, припоминаете? Пришёл вам сказать, чтобы он сегодня вечером, часов в одиннадцать, обязательно приехал к Исае. В мою бывшую школу, в двести третью. Это у папки самая последняя возможность. И Любу пусть возьмёт. Не послушалась она меня, глупая. Выскоблела братика всё-таки...”

Русалочьи, с тёмными ободками глаза Любы вспыхивают.

“Я стою лицом к стене,” — захлёбываясь, продолжает старая старушка. — “А он молчит. Я с силами собралась, повернулась, в комнате никого. Вот хотите верить, хотите нет. Бросилась в прихожую: замок закрыт, цепочка на месте. Думала, с ума сойду. Всё бросила и сюда к вам.”

Не снимая пальто, Ирина Леопольдовна опускается на журнал рядом с Любой. Минуту сидят молча, прижавшись друг к другу.

Синее море цветов на обоях беззвучно качается вокруг.

Высоко над цветами мерцает крутолобое лицо святого.

Наконец Ирина Леопольдовна произносит в пространство, слов-

но впечатывая каждое слово: “Надо, Любонька, идти к Исaйе. И тебе, и Петру Михайлычу. Александр Самойлыч тоже там будет.”

“Чего это вдруг Мозг ночью к Исaйе вашему пойдёт?” — не разжимая губ, бормочет Люба.

“Пойдёт! Ещё как пойдёт!” — жирным шрифтом повторяет старая старушка, глядя в угол. — “Сегодня к нему все пойдут.”

Молчат. Жалобно плачет вода в уборной. Старушка вздыхает, обнимает Любу за плечи.

“Как же ты, Любонька, не убереглась-то? Ведь не девочка. Четвёртый месяц... Младенец-то, поди, переворачивался уже? Живой, значит, человек внутри тебя был. Сердечко билось, ручки шевелились. Где же душа-то его теперь? Кровь на тебе... Грех. Ну, да не мне судить. Я ведь тоже...”

Красная перепончатая ладошка всё сильнее сжимает Любино плечо.

“Сама всё знаю,” — взрывается Люба. — “И без вас тошно! Уходите. Мне одной побыть нужно.”

“Конечно, конечно, Любовь Никаноровна,” — старушка покорно сползает с дивана и, поджав лиловые губы на мёртвом личике, быстро удаляется.

Люба сидит неподвижно с закрытыми глазами. Её сплетенные пальцы плотно зажаты между коленями. Распушенные волосы полощутся в море бумажных синих цветов. Два горячих сине-чёрных ручья медленно ползут по щекам.

Наконец она снимает телефонную трубку, быстро набирает номер.

“Петенька? Да, я. Спасибо, мой золотой. Получше уже. Петя, у меня тут сейчас бабка эта была. Ну, та, которая блюдец вертит. Она говорит, что, вроде, Алёшка к ней сегодня домой приходил и велел тебе передать, чтобы мы вечером к Исaйе пошли. Я не знаю, может, померещилось ей, может просто врёт. Но описала его, судя по всему, правильно. И про аборт мой откуда-то знает. Я тебе потом всё расскажу. Поедем, Петя, а? Адрес у меня есть. В школе какой-то. Давай, Петя, поедем, а то я всего этого не выдержу. Да ничего у меня не болит, что ты! Я же живучая, как кошка. Ну, да. Часов в одиннадцать. Заедешь за мной? Ладно, Петенька, я буду ждать.”

ГЛАВА 9

Суббота. Десять часов тридцать минут вечера. Оплывшая туша Мозга в кабинете у окна. Маленькие, покрытые рыжеватым пухом целлулоидные кулачки торчат из карманов.

Млечный путь — Батыева дорога (спиралью закручена в синее вещество ночи над Москвой). Лента стекол в доме напротив полощется

отраженным светом. Осьминог-светофор повис над перекрёстком.

В паутине слипшихся косматых лучей и проводов, виляя задом, ползёт гробик трамвая.

Пронзительный телефонный звонок.

“Алэ! Слушаю вас! Алэ!” Треск, затем близко настойчивый голос Исайи: “Саня? Бросай всё немедленно и приезжай сюда. Адрес я тебе оставил.”

“Зачем я вам?” — хрипит Мозг.

“Приезжай, я тебе говорю! Потом поздно будет. Час всего остался. Да не бойся.”

Голос в трубке пропадает.

“Свалился на мою голову в такое время,” — неуверенно бормочет Мозг.

В центре спирали над его головой зажигается белая звезда.

Без стука входит Чуж Чуженин. Останавливается в дверях.

“Ну, давай, Чуж, рассказывай, что там ещё стряслось...”

Чуженин докладывает спокойно, почти не разжимая челюсти. Его выбритые до булыжной синевы скулы тускло мерцают рядом с огромной головой Мозга.

“Часа два назад за Исайей приехала машина с четырьмя людьми в штатском. Мои ребята проследили их до Кремля. Примерно через час Исайю привезли назад на той же машине. В двадцать один тридцать Президент поехал на службу в Елоховский Собор. В это же время Кукушкин находился у себя в министерстве. В двадцать один сорок пять была объявлена готовность номер один в ракетных войсках Московского военного округа. В двадцать два ноль ноль американский посол звонил в Вашингтон. Данных о содержании разговора ещё нет.”

“С Егоровым что?” — нетерпеливо перебивает его Мозг.

Чуж отводит глаза, произносит деревянным голосом:

“Со вчерашнего дня сообщений от генерала Егорова не поступало.”

“Не нравится мне это,” — мрачнеет Мозг. — “Уж не случилось ли чего? А ты сейчас вот что, Чуж: езжай-ка сам к Егорову и узнай о готовности в ракетных войсках. А потом сразу же на базу, к ребятам. Я к тебе туда приеду после полуночи... Интересно, что это за связи у Исайи в Кремле...”

“А, может, нам его, Александр Самойлыч...” — Чуженин резко ударяет по бедру ребром своей единственной ладони и пристально смотрит на Мозга, пытаясь разгадать что-то в кофейной гуще его маленьких глаз.

“Нет, Чуж. Не могу я его трогать. Да и поздно уже. Машина для меня чтобы была готова через пять минут.”

Суббота. Одиннадцать тридцать вечера.

Карниз школы номер 203 унизан ровными рядами сосулк с замороженными в них ниточками звездного света.

Белая звезда неподвижно висит над кирпичным зданием. Под нею, словно гигантские птеродактили, стригут небо три вертолѐта.

Появляется чёрный мерседес Петра Михайловича.

“Ты смотри, что здесь творится,” — испуганно произносит министр. Резко тормозит.

“А-а!” — вскрикивает Люба, наклоняясь вперѐд и обеими руками хватаясь за низ живота. Сжимает коленями свою белую норковую шубу.

“Не надо тебе было сегодня из дома выходить,” — бормочет Пѐтр Михайлович. — “Отлежалась бы... Может, в другой раз, а?” Осторожно поглаживает узел её пшеничных волос.

Худенький подросток с глубоко запавшими васильковыми глазами подходит к машине.

“Вы — Пѐтр Михайлович Терентьев? Мне Исайя велел вас встретить.”

Не дожидаясь ответа, осторожно берѐт Любу за руку и ведѐт их в здание школы.

Физкультурный зал, плотно набитый телами, голосами и жеста-ми людей всех возрастов.

Душно. Тускло мерцает единственная голая лампочка под потолком.

Во всю стену жѐлтый лист картона, на котором углѐм нарисована голова Христа в венце из колючей проволоки.

В центре на письменном столе стоит Исайя в стареньком пиджачке и отутюженной белой рубашке. Веки его опущены. Костлявые руки безжизненно висят вдоль тела. У ног сиамская кошка со скрещѐнными на груди пухлыми лапами. Круглые зрачки внимательно изучают столпившихся людей. Слева от кошки большой бидон со святою водой.

Пѐтр Михайлович замечает в толпе старую старушку. Еѐ пегие волосы распущены по плечам. Беззубый ромбовидный ротик широко раскрыт. Красные перепончатые руки намертво вцепились в край стола. Пюре из мятых оборок размазано по костлявым бокам.

В дверях снова появляется васильковый подросток, расчищая дорогу огромной оплывшей туше Мозга. Низко опустив огромную шаровидную голову, Мозг боком продирается сквозь толпу с аккуратным чемоданчиком в руках, тяжело переставляя непослушные ноги. Обречѐнность чувствуется в его неловких движениях. Проходит мимо Петра Михайловича и Любы, не замечая их.

Министр хочет окликнуть его и не может. Ему кажется, что рот его забит смоченной в уксусе губкой. Красные пятна плывут по Любиному лицу. Пётр Михайлович крепко обнимает её за плечи.

Вдруг Исаяя поднимает веки. В узких щелях вспыхивают фосфоресцирующие зрачки. Растопыренными пальцами правой руки он, как вилами, поддевает воздух и, в упор глядя на Мозга, начинает говорить:

“И тогда под землёй в воркутинской шахте, явился мне свет нестерпимый. И принял свет форму человека с крыльями. И ангел Света произнёс во мне: “Вот крещу я тебя Духом Святым и нарекаю Исаяей. Иди в Москву и спасай кого ещё. Ибо ночью с субботы на воскресенье в неделю пасхальную наступит День Суда. Верите ли вы мне?”

Голос Исаяи заполняет пространство и эхом отражается от стен.

“Да!” — сотней глоток выдыхает бледная толпа в физкультурном зале.

Голая лампочка птицей взвивается к потолку.

“Готовы ли вы всё отдать, вплоть до рубашки своей нательной, чтобы чистыми войти в Царство Божие?”

“Да-а-а!” — слитным выдыхом отвечает толпа.

“Уповайте на Господа. Ближе, совсем близко время Его.”

Сиамская кошка мечется по столу. Спрыгивает на пол и забивается в угол. Слышен нарастающий подземный гул.

“И раскроется земля и поглотит грешников, и оставившие Господа истребятся!” — неожиданно звонким голосом выкрикивает Исаяя.

Трясётся блестящий крашеный пол.

Чёрная трещина извивается по стене, повторяя клювовидный профиль Исаяи.

Толпа ещё плотнее сбивается вокруг стола.

Лик Христа в венце из колючей проволоки нависает над ними.

“Смертию Смерть поправ! Грядёт Господь Жених Огненный,” — ликует Исаяя.

Кошка карабкается вверх по его телу, усаживается на плечо и громко икает.

Люди сбрасывают одежду и голые начинают медленно двигаться. Самозабвенно танцует многоликое тело с поднятыми вверх руками.

Мелькает счастливое лицо Алёшки с пустыми глазными впадинами. Лес ладоней трепещет вокруг одинокой фигурки на столе.

Из расщелины в стене струится свет.

“Смертию смерть поправ!” — снова и снова повторяют они нараспев, перекрывая подземный гул.

Пол всё сильнее трясётся под ногами.

Мозг падает на колени. Ручьи пота струятся по его плотно обтянутому кожей лицу.

“Жених Огненный,” — бессмысленно бормочут красные пухлые губы. Раскрытый чемодан, полный новыми долларовыми бумажками, валяется перед ним.

Внезапно всё останавливается. Слышен гулкий грохот сапог за дверью.

Небритые солдаты в пятнистой форме с автоматами наперевес врываются в физкультурный зал.